

СЕКЪЕТИК

Свет в комнате всегда зажигался резко. Мама командовала вставать и шла в ванную. Где-то из-под сна, в далёких залежах далей, пыхала колонка и лилась вода. Даня знал: к её приходу нужно успеть натянуть колготки, майку и свитер, приготовленные с вечера на деревянном стуле. Потому силился вынырнуть из тёмной проруби сна. Тёр глаза, откидывал одеяло, окунаясь в стылый утренний воздух. За окном его детской колыхалась в утренних фонарях густая сибирская тьма. Колготки не слушались, свисали с ног ушами Лайки. Даня тянул их неуклюжими пальцами вверх, старался изо всех сил. Долго решал со сторонами свитера, вдевал голову в прорезь – колючую и узкую.

Потом бежал на остановку, не успевая за мамиными быстрыми шагами, цепляясь за тёплую руку в пушистой варежке. В автобусе всегда было холодно. Даня залезал на высокое сиденье у промёрзшего окна, вжимал лицо в шарф и всматривался в наросты льда. Кто-то до него выскреб овал – чтобы видеть город. В овале мелькали слабые кривые линии огней. Даня немного пригрелся от собственного дыхания и повернулся к маме – голову из-за тугого шарфа поверх громоздкого капюшона развернуть было невозможно. Мама дремала, раскачиваясь, будто на волнах. Лицо её было светлым, напудренным. Тёмная кудрявая прядь выбилась из-под шапки. Даже через своё клетчатое грубое пальто Даня ощущал тепло маминого тела рядом. Оно пахло мамой.

Даня никогда не знал заранее, заберёт ли мама его вечером из логопедического сада или оставит на ночь. Сад был далеко от дома, а мама работала одна и уставала на фабрике. Данин язык почему-то не слушался и плохо произносил всякие звуки. Оттого мама злилась и говорила: никому не нравится слушать *кашу из рта*, Даня назло не старается и нервирует её – совсем как делал Данин *отец*. «Весь в отца» – означало самое страшное, будто мама отрезала Даню от себя и швыряла куда-то вдаль, вслед ушедшему отцу. Она никогда не говорила «папа». Слово «папа» было тёплым и ритмичным, оно было весёлым – с таким словом можно выстукивать марш в пять квадратов зала или летать под потолком, лёжа на сильных мужских руках. Такие игры Даня видел в маминых фильмах, которые она любила смотреть по вечерам. Долгое время он думал, что «отец» – это ругательство. И когда воспитательница спросила, кто его отец, Даня покраснел: откуда Нина Фёдоровна знает, что у него не папа, а *отец*.

Когда высокие стёкла сада почернели, будто по ним растеклись чернила, детей начали забирать. Даня не оборачивался на зов воспитателей, но при каждом крике сердце его сжималось в тугий комок – как ежонок, что топотел за мамой-ежихой по веранде бабаниного дома и мгновенно сворачивался клубком, стоило лишь тронуть иголки.

– Да-ня, ма-ма при-шла! – нараспев произнесла Нина Фёдоровна.

Даня бросился к дверям игровой, наспех обнял холодную с мороза маму и побежал к высокой тумбочке с поделками. Ему не терпелось показать зелёный лист из пластилина и вылепленных на нём насекомых. Он нетерпеливо подпрыгивал, пока мама рассматривала поделки.

– Эх, и руки-крюки, – вздохнула мама, сравнивая Даниного жука с Вероникиным. – Ты вот лучше б дома за собой тарелку всегда мыл.

Даня всё ещё держал лист, протягивал его маме в сумку.

– Куда суёшь? Не возьмём, – отрезала она. – Всю мебель загадил и ковры своим пластилином. Не ототрёшь теперь.

Потом нервно ждала, пока Даня оденется. Цыкнула и, затаив потуже шарф у него за спиной, раскрыла двери в белёсые от снегопада сумерки.

Даня старательно поднимал ноги в ботинках и проваливался в глубокий снег. Идти было жарко и тяжело. В сердце от ёжика осталась мелкая противная иголка – она больно колола, когда Даня вспоминал о красивом жуке, гусенице и божьей коровке на зелёном листе, оставленном в садике на тумбочке.

В автобусе мама сидела рядом и улыбалась светящемуся экрану. Лицо её тонуло в пушистом мехе на капюшоне, на котором уже растаяли снежинки, превратились в капельки. Мех почему-то пах мокрой курицей – так пахла птица, которую давала подержать бабаня летом, – и отголоском пряных утренних духов. Даня редко видел маму после работы вот такую: улыбающуюся, какую-то *снегурочную*, словно через мгновение зажжётся праздничная ёлка.

– Мам, – позвал Даня, – в саду не сташно будет шукáм?

– Что? Ну что ты хочешь? – нахмурилась мама, одёргивая руку. – Я сейчас опять выроню телефон из-за тебя. Не мешай.

Даня поскрёб ногтем указательного пальца по стеклу. Выскреб глазок, придвинулся ближе. Встречные машины скользили светом фар по обледенелому боку автобуса и исчезали. Они с мамой проехали монументальное здание с колоннами и афишами, проехали розоватый дом в хороводе мохнатых елей и белый, будто сахарный, собор с серебристыми куполами. За окном была его, Данина, личная тайна – там было гораздо интересней, чем в скучном салоне автобуса.

Даня потянул мамин рукав:

– Я тебе секъетик не скашу.

– Не дёргай за рукав! Я же просила.

Тогда Даня решил вспоминать бабаню. К ней в деревню они тоже ездили на автобусе – только другом. Он был меньше и теснее. Шёл по вечерам, и за окном постепенно спускалась на степи тьма. Сначала на горизонте желтела кривая полоса, похожая на раздавленный желчный рыбий пузырь. Она таяла, истончалась и превращалась в тонкий бабанин серебристый волос. Тьма нахлынивала резко, ширилась, ползала внутри автобуса, баюкала. Жидкий лесок недалеко от поворота в деревню стоял на страже. На повороте автобус обычно останавливался – выпустить человека навстречу лесу. В раскрытых дверях слышалось журчание быстрой речушки, закованной в бетонные берега, в резкие пороги. Даня любил приходить с бабаней к этой речушке, смотреть на белую пену, собирающуюся у каждого преодолённого водой порожка.

– Вот такой у нас водопадик, – говорила бабаня.

Она была полной, с большими грубоватыми руками, всегда пахнущими растительным маслом. Бабаня была уютной и мягкой, как замешанное ею тесто.

Только однажды Даня видел её кричащей. Она стояла на пороге летней кухни, загораживая выход, держалась за косяки, брызгала слюной деду в лицо, визжала:

– Не пуцу! Всю жисть терпела!

Дед пытался оторвать её руки от двери. А она уже кричала в дом:

– Ленка, вещи отцовы попрячь!

После того вечера дед стал другой. Сидел в летней кухне один, пахло от него не табаком, а чем-то резким, похожим на одеколон «Саша». Бабаня ходила с синяком на пухлом предплечье и говорила соседке: «Упала, с порога». Даня знал: не упала.

Дед складывал пустые бутылки под ступенькой крыльца и всё больше чах, высыхал, как степное деревце, семя которого возросло далеко от воды. Пока в теле совсем не осталось чистой воды. Дед словно весь вышел – осталась только чёрствая, сухая, морщинистая оболочка.

Даня тронул дедову жёсткую щеку, когда ещё не закрыли гроб. Ему казалось: дед вытек в потрескавшуюся степную землю – копни детской лопаткой – там песок. А дед тёк до самой воды, до «водопадика». Прыг-прыг – скользнул по бетонным порожкам, подышал кислородом в пузырьках пены и просочился в почву меж корней влажных деревьев. Деду стало вольготно, он подружился с жуками и червяками, заселявшими добрую землю у самой реки.

Даня подумал: Боженька, наверное, тоже так сделал – взял и вытек в землю с крестика, чтобы всё росло.

Живой дед любил у этой воды сидеть, ставить сети, караулить серебристые рыбы бока. Ловить мелких рыбёшек для Мурлыги. Кот жадно грыз косточки, чавкал – из пасти

текли слюна и рыбки внутренности. Дед кряхтел, на волосатой груди расходилась рубашка с оторванной пуговицей.

Даня глядел на медный крест, висящий на толстом шнурке, бочком подходил и трогал. Крест был нагретый от дедова жара и лёгкий.

Даня не видел бабаню с прошлого лета. Тогда они сильно повздорили с мамой.

– Сдохнешь – не приеду, – спокойно сказала мама, собирая чемодан.

Выходя, она с силой дёрнула длинную металлическую ручку. Колесо, застрявшее меж высохших досок, отвалилось. Мама беззвучно шевельнула губами, зло развернула чемодан и покатила его так – на трёх колёсах, подпрыгивающих на вытоптанной тропинке.

Даня очнулся от полудрёмы. В ухо, глухо закрытое шапкой, мамин голос сказал:

– Выходим!

Даня моргнул. Бабани не было. Был холодный автобус и мама, которая уже встала.

Дома их встретил черноглазый мужчина, крепко пахнувший одеколоном. Он был в серых тряпичных тапках и спортивных штанах.

– Это дядя Толя, – сказала мама, разматывая мокрый от Даниного дыхания и соплей шарф.

Даня втянул соплю. Горло саднило – будто съел что-то острое и поцарапался.

За ужином Даня рассматривал дядю Толю. Лицо у него было острое – будто Боженька высекал его маленьким кухонным топориком, одни скулы да нос. И голос такой же: раз – отсёк слово, два – закончил. Рука, держащая ломоть хлеба, была покрыта чёрными волосами. Он шумно прихлёбывал тушёную картошку и поглядывал на Даню тёмными колючими глазами.

– Похож? – спросила мама, суетливо расставляя чашки.

Даня ёжилсЯ, пригибался к столу, ему хотелось сползти и спрятаться от тяжёлого воздуха, дрожащего между ними, – холодного и будто даже брезгливого. Так смотрят на пропавший суп или протухшую рыбу.

Чего не ешь? – разозлилась мама. – Как девчонка чахнешь над тарелкой! Вон дядя Толя уже поел.

Дядя Толя резко откусил хлеб, дёрнув головой.

– А глаза, значит, голубые были, да? У бывшего. Как у пацана? – ткнул рубленым подбородком в Данину сторону.

Даня облизнул солёную дорожку над губой.

– Гоо болит, – сказал он маме.

Она не посмотрела. Придвинула тарелку ближе – так, что жёлтая жижа качнулась и лизнула Данину футболку на груди. Пятно расплзлось тёплым, потом внезапно стало холодным, и Даня вдруг подумал: теперь оно так и останется – и ничем не ототрёшь, как пластилин на ковре.

Потом мама и дядя Толя включили фильм и сидели в зале на диване в обнимку. Даня хотел показать, как они занимались в саду спортом, – громко скакал, кричал:

– Мама, смотри!

Дядя Толя нахмурился, лицо его скукожилось, стало похоже на скорчившееся яблоко на бабаниной лавочке.

– Как ты выдерживаешь этот шум? – спросил он у мамы, отрубая слова. – Башка после смены трещит.

– Иди в свою комнату! – сказала мама Дане.

Утренний автобус ехал медленно, выжимая из-под колёс грязную жижу. Окна были замызганные. Сквозь них улицы казались мрачными, протухшими. Даня всматривался в шевелящуюся массу людей на тротуарах – однородную, только изредка мелькали цветастые шапки, зелёные или красные. Улицы тяжело ворочались этой живой субстанцией, плевались на сапоги подтаявшим коричневатым снегом.

Мама смотрела перед собой, погружённая в мысли. Даня хотел сказать о тайне за окном, о мире вокруг, который она почему-то никогда не видит. Но сглотнул – слюна была болючей, с тысячами режущих осколков, – и отвернулся к стеклу.

Мама ругалась в саду с Ниной Фёдоровной, которая не собиралась оставлять сопливившего Даню.

– На меня начальник косо смотрит! – задыхалась раскрасневшаяся мама, сняв шапку. – Неделю через неделю по больничным! Данька не болеет. Это всего лишь насморк! Остался ещё с прошлой простуды.

Она нервно пригладила волосы, надела шапку, поправила воротник. Сапожки застучали по казённому кафелю, оставляя влажные коричневые следы.

Даня закрыл один глаз и представил себя следопытом. Голова была тяжёлой и горячей – будто закипевший на плите чайник. Он сел на деревянный лакированный стул, вытер рукавом набегающие дорожки под носом и закрыл глаза. Детские голоса шелестели в голове, звенели.

Даня любил болеть – потому что мама оставалась с ним дома. Укладывала в кровать, накрывала одеялом и сидела рядом. Иногда читала книжку, кормила с ложки – как будто он снова маленький. Даня мог сколько хочешь прижиматься щекой к её гладкой шелковистой коже. Когда он болел, мама ничем не пахла, и руки её казались

прохладными, как родниковые ручейки летом. Она прижимала его голову к своей мягкой, в махровом халате, груди.

Даня не заметил, как уснул – прямо там, в игровой, на стуле, уткнувшись острым подбородком в грудь.

Нина Фёдоровна тронула его лоб – ледяной, будто железной, рукой – качнула головой и отправила есть кашу. Каша была вязкой и твёрдой одновременно, с жёсткими серыми зёрнышками, исполосованными посередине. Горло горело.

Даня вдруг почувствовал: желудок дёрнулся, сжался, а потом покатился вверх. Он открыл рот – и его вырвало прямо в тарелку.

– Это ничего, – сказала Нина Фёдоровна. – Такое бывает.

Даня подумал: когда он умрёт, мама будет очень сильно плакать. И ещё подумал: а может, наоборот, обрадуется и будет сидеть с дядей Толей на диване в обнимку, смотреть всякие фильмы.

Вечером мама пришла в его комнату с ложкой. В ложке поблёскивала белая жижа – от неё всегда хотелось пить и тошнило.

– Пей. Это антибиотик. Надо быстрее выздороветь. Некогда мне с тобой дома сидеть. Иначе меня на работе убьют.

Даня не хотел, чтобы маму убили, и послушно открыл рот. Жижа потекла по горлу, оставляя сладкий царапающий след.

– Ты его травишь, – сказал из коридора дядя Толя. – Закалять надо. Обливать холодной водой.

Мама не ответила. Только забрала ложку и вышла.

Даня полежал немного, а потом подумал: что значит «закалять»? Слово было страшным. Он потянулся к игрушечным динозаврам. Фигурки были сделаны добротно, с вниманием к деталям. Самый высокий, Тирекс, ткнул лапой мелкого хилиака:

– Пшёл вон. Мешаешься!

Мелкий неуклюже завалился на бок и лежал, зияя раскрытой беззубой пастью.

Мама вернулась, постояла в дверях, прошла и села на край кровати. Разглядывая длинные розовые ногти, сказала:

– Ты дядю Толю папой называй. Хорошо?

Даня кивнул и поднял мелкого динозавра.

– Это Тиэкс, – протянул он к маминому лицу крупного.

Мама отпрянула, нахмурилась:

– Ну чего в лицо пихаешь. Как будто можно что-то увидеть на таком расстоянии?

Когда мама снова вышла, Даня взял пульт от люстры и принялся щёлкать, переключая режимы.

Па-па-па-па-па-па-па.

За многими в сад приходили папы. Все они были большими, у некоторых – бороды. Как с такими разговаривать? Внутри Дани всё сжалось: это как подойти к деду Морозу – вот так, запросто, между делом, взять за руку или даже обнять.

Даня свесил босые ноги с кровати, потянулся к ушастым тапкам и влез в них. Прошёл в зал. Мама звенела чашками на кухне, дядя Толя сидел спиной к Дане, играл в «Танчики». Даня подошёл ближе, встал у его плеча, дотронулся до рукава футболки, стягивающей бицепс. Под ладошкой твёрдая мышца сокращалась от напряжения.

– Папа? – спросил Даня.

– Гляди, как я их уделаю, – сказал дядя Толя, не отрываясь от экрана.

Ближе к осени, когда на деревьях во дворе уже начали желтеть и опадать листья, дядя Толя собрал большой рюкзак – приминая кулаком вещи, надел на плечи и ушёл.

Даня глядел из окна детской вниз: на жёлто-зеленые асфальтированные дорожки, усыпанные мокрыми листьями, на покачивающуюся от ветра карусель. Дядя Толя шёл бодрой походкой всё дальше, не обходя мелкие лужи, наступая на вялые листья в воде. Потом остановился – будто что-то вспомнил, – закурил, закрывая сигарету от ветра, и исчез за поворотом у оранжевой пятиэтажки.

– Это было при тебе, и ты его не остановил! – кричала потом мама, некрасиво искривляя красный рот с размазанной помадой. – Ты виноват! Ты!

Она металась по квартире, проверяя, всё ли забрал дядя Толя – или ещё вернётся. С размаху ударяла дверцами шкафов, ящиками стола. Не плакала – злилась. Скидывала с комодов любимые статуэтки. На пол полетел даже светильник, бережно хранимый, который не позволялось трогать.

Когда светильник разбился, мама долго смотрела на его оранжевые осколки.

– Собирайся! – вдруг повернулась к нему, лицо её было искажено гневом. – Быстро!

Обычно Даня спрашивал маму, что надеть. Но сейчас сам нашёл коричневые штаны и футболку с клетчатой рубашкой.

На улице уже расплзалась тревожная темнота. Даня едва успевал за мамиными шагами. Она шла молча, глядя далеко перед собой. Лицо её, освещённое рекламными плакатами и фонарями, казалось серым, неживым. В какой-то момент Дане показалось:

это не мама, а киборг. Киборг сжимал его пальцы крепко – до боли в костяшках. Даня раскрывал рот, по-рыбьему, хотел выговорить слово «мама», но не хватало воздуха.

Казалось, они шли бесконечно долго. Даня успел вспотеть, жар подкатывал к горлу, не давал дышать. Дома скукожились, стали низкими, тротуары сузились, местами превратились в волчьи тропы.

Вдруг мама резко остановилась. Они стояли у небольшого домишки с тёмным игольчатым забором. Где-то из глубины двора гаркнула собака и загремела цепью.

Мама дёрнула Данину руку, наклонилась – даже в этой темноте Даня видел, как сверкают её глаза.

– Кричи «папа»! – шепнула она ему в лицо. – Кричи, понял? Он должен вернуться.

Даня поглядел на зашторенное окно – сочащееся сквозь ткань тревожным светом, – глотнул стылый сумеречный воздух.

– Ну же! – Мама снова дёрнула его руку, Даня качнулся, начал мелко дрожать, будто замёрз. – Кричи «папа»!

Зубы стучали. Он передёрнул плечами и крикнул:

– Папа!

– Ещё. Громче, – потребовала мама.

Даня набрал обжигающего воздуха и закричал что есть силы:

– Па-па! Па-па!

– Кричи «вернись». «Папа, вернись!»

Даня закричал снова:

– Папа, венись! Папа, венись! – звонко, даже в ушах зазвенело.

Собака с передущенным цепью горлом заливалась хриплым лаем, а Даня продолжал кричать. И чем больше он кричал, тем явственней уходила дрожь, стихало клацанье мелких зубов.

Даня передохнул, вслушиваясь в стрёкот сверчков и хрипы пса, и закричал снова:

– Папа!

И в это мгновение понял: он кричит вовсе не дяде Толе с вырубленным топором лицом. Он кричит тому самому папе – *его* папе, которого забыл.

Он кричал в окно, где уже раздвинулась штора: «Папа!» – неуклюже, заглатывая ртом улицу и надвигающуюся осень, и рыдал. Он не мог остановиться. Кричал даже тогда, когда дядя Толя вышел, хлопнув дверью, когда раскрыл лязгнувшую калитку и стоял, искривив тёмное лицо.

– Дура! – выговорил он. – Совсем бобо. Потому и бегут от тебя мужики.

Дядя Толя подошёл к Дане, присел на корточки:

– Ну всё, пацан, хорош.

Даня закрыл рот, снова раскрыл и всхлипнул. Дышать было больно и тяжело.

Обратно они с мамой ехали на автобусе. Даня не смотрел в окно, а смотрел перед собой, как мама. В полупустом салоне свет был электрическим и мёртвым. Впереди сидели ещё два парня и девушка. Парни весело гоготали.

Даня снял варежки. Смотрел на свои мелкие паучьи пальцы. Вот его пальцы, вот он сам – ненужный.

Дома у мамы было снова её лицо – живое. По напудренным щекам из глаз лились и лились дорожки, совершенно не кончаясь. Мама переоделась в халат и пришла спать в Данину комнату, на его детскую кровать, сжавшись в мягкий комоч. Даня обнял маму за плечо, погладил по мокрому лицу. На утро мама не поехала на завод, а осталась с ним дома, взяв больничный. Даня всю следующую неделю помогал маме на кухне, спал с ней на диване в зале. Мама была очень тёплой и очень маленькой.

Воскресным днём Даня прокрался к стеклянному стеллажу и достал расписную шкатулку. В ней мама хранила всякую памятную мелочь. Даня выудил медный дедов крестик, который бабаня зачем-то сорвала с дедовой шеи, когда загораживала дверь. Даня рассматривал мёртвого Боженку на кресте и думал: мама теперь добрая и уютная, почти как бабаня, и ей всегда-всегда будет больно.

Это будет их, Данина с Боженькой, тайна.

Он поставил шкатулку обратно и побежал в детскую, сунул крестик под матрас – глубоко-глубоко – и улыбнулся.